

С. Ф. ПЛАТОНОВ

Автобиографическая записка

Я родился 16 июня (старого стиля) 1860 года в украинском городе Чернигове, в семье типографского техника, бывшего там на правительской службе. Именно служба привела моего отца в глухую провинцию. Как сам он, так и моя мать были коренные москвичи, и вся наша родня была сосредоточена в Москве. Семейные воспоминания говорят, что наши предки были крестьянами Перемышльского уезда (около г[орода] Калуги), и что только со стороны матери в нашу великорусскую кровь влился какой-то южный (молдаванский?) элемент в лице мистической для меня «бабушки», которая курила трубку и пела нерусские песни. Эта инородческая случайность никак не замутила великорусскую стихию, в которой я вырос и воспитался, и поэтому я имею полное право считать себя чистым представителем южной (московской) ветви великорусского племени. Не только происхождение, но и сознательная преданность Москве с ее святынями, историей и бытом делала моих родителей, а за ними и меня, именно великорусскими патриотами. Бывая в детские годы в Москве, в домике моего деда на северной окраине города, я чувствовал себя как бы на родине, хотя оседлость моя была и не там, а в Петербурге, куда мой отец был переведен по службе в 1869 году.

В Петербурге я прошел гимназический курс (1870–1878) и курс историко-филологического факультета в Университете (1878–1882). В моем детстве и отрочестве я жил под сильным влиянием моего отца, память которого чту глубоко. Это был умный, способный и гуманный человек, стоявший в умственном и моральном отношении выше своей среды. Он вложил в меня любовь к чтению и дал первые сведения по истории и литературе. Я начал читать Карамзина и Пушкина лет восьми или девяти и очень любил слушать рассказы отца о событиях его молодости, прошедшей в соприкосновении со студенческими кружками Москвы.

На семнадцатом году я заболел тяжелою формою тифа, и эта болезнь составила грань в моей духовной жизни. До нее я был беззаботным мальчиком; после нее началась серьезная умственная жизнь. У меня образовались новые знакомства, появились новые влияния. До болезни я не чувствовал потребности смотреть вперед и определять свой дальнейший жизненный путь; теперь же передо мной, как путеводный маяк, стал университет — сокровищница гуманитарных знаний, образующих характер и осмысливающих жизнь. Пред вступлением в университет мой интерес направлялся к тому, чтобы получить на философской основе литературное образование. Меня манили к себе курсы истории литературы. Но в то время они были поставлены в Петербургском университете не блестящие. Ни Орест Миллер, ни Сухомлинов, ни Незеленов, преподававшие историю русской литературы, не увлекали меня. Александр Веселовский не был мне тогда понятен с его исторической поэтикой. Зато профессора историки и юристы сразу увлекли меня как личными талантами, так и предметом своих чтений. Наибольшее влияние оказал на меня профессор русской истории К. Н. Бестужев-Рюмин. Я живо помню тонкую, хрупкую фигуру его с характерным, смуглым, семитического типа лицом и седеющими длинными кудрями. Он не был оратором: он не «читал», он просто беседовал, не заботясь о форме своей речи. Человек широко образованный, свободно вращавшийся во всех сферах гуманитарного знания, великолепно знавший свою науку, он легко поднимал слушателей на высоты отвлеченного умозрения и вводил в тонкости специальных ученых контроверз. Мы жили в новой для нас области русской историографии, как в каком-то ученом братстве, где все исследователи дышали общими учеными интересами и жаждою народного самопознания. Работа на ученом поприще родной истории являлась перед нами в ореоле духовного подвижничества и обещала высшее духовное удовлетворение. Какою-то поэзиею ученого труда обвевала нас быстрая, воодушевленная, блиставшая остроумием речь Бестужева. Весь курс его был построен так, что не столько излагал исторические факты, сколько объяснял историю их научной обработки, успехи и приобретения ученого труда и остроумия.

На филологическом факультете в первые два года моего там пребывания никто другой не мог равняться с Бестужевым по силе

влияния на аудиторию. Сухость факультетского преподавания заставляла меня искать умственных возбуждений в аудиториях юридического факультета, где я с великим увлечением слушал А. Д. Градовского и В. И. Сергеевича. Профессор Градовский читал государственное право России и иностранных держав. Он был умный и тонкий лектор, умело облекавший в соответствующую форму рискованные в ту эпоху реакции политические сюжеты. Свобода и независимость от тогдашней строгой цензуры чрезвычайно нравилась слушателям, а язвительное остроумие лектора восхищало. Слушатели как будто покидали свою реальную житейскую обстановку и уходили в свободный мир умозрения и критики, где получала непогрешительную оценку вся политическая и общественная действительность России и европейского Запада. Впервые на лекциях Градовского сложились мои представления о государстве и обществе, о целях государства, об отношении государства к личности и о благе личной свободы и независимости. «Либералу» Градовскому обязан я, между прочим, тем упорством, с каким я всю жизнь противостоял всякой партийности и кружковщине, ревниво охраняя право всякой личности на пользование своими силами в том направлении, куда их влечет внутреннее побуждение. Сильное влияние чтений Градовского на мою душу заставляет меня признать его за одного из моих учителей в лучшем значении этого слова. Иной характер имели лекции профессора Сергеевича по истории русского права. Они были верхом изящества, а сам лектор был красив, наряжен, и изящен. Говорил он великолепно: звучная и гладкая фраза всегда заключала в себе точную и ясную мысль, поражала силою анализа при разборе древних документов и при характеристике древних правоотношений. Сильная логика лектора подчиняла себе слушателей и не позволяла им заметить прямолинейность заключений и пренебрежение исторической перспективой ради ясности схемы и юридических конструкций. Сергеевич любил схемы и знал документы; но, думаю, он мало знал и понимал старую русскую жизнь, потому что мало был знаком с современным народным бытом. Влияние его на мою голову было иным, чем влияние Бестужева и Градовского. В преподавании тех был силен элемент моральный. Они тянули в разные стороны: Градовский был

явный «западник», Бестужев был близок к «славянофилам»;¹ но оба они проникали в сердце и совесть, будили душу, заставляли искать идеала и моральных устоев. У Сергеевича же хотелось учиться быть лектором; но в нем не было ничего воспитывающего и нравственно руководящего — одно совершенство техники, красота метода и стиля.

Названным профессорам я был обязан тем, что сделался историком. Юные мечты о философско-литературном образовании и поэтическом творчестве, какие бродили в моей душе раньше, сменились наклонностью к изучению русской истории. Когда в начале третьего года пребывания на факультете необходимо было заявить декану факультета свою специальность, я назвал себя «русским историком». В числе исторических курсов для группы студентов-историков одно из главных мест принадлежало курсам по средней истории (общему и специальному) профессора В. Г. Васильевского. С глубоким чувством любви и уважения вспоминаю я этого великолепного ученого и прекрасного человека. Более всех моих профессоров он известен западноевропейскому ученому миру, как один из авторитетов по истории Византии, и потому я позволю себе далее остановиться на его характеристике, как его ученик, сотрудник и впоследствии младший товарищ по факультету. Васильевский читал для всех студентов факультета общий курс средней истории, главным содержанием которого было обыкновенно падение Римской империи и образование варварских государств. Кроме того, студентам-историкам он читал специальные курсы,

¹ Я думаю, что немецким читателям в общем известно значение этих терминов. Оба направления (и «западники», и «славянофилы») получили свое начало в идеалистических философских кружках Москвы в 30–40 годах XIX века. В русской истории славянофилы идеализировали Московское государство XVI–XVII вв. и считали реформу Петра Великого насильственным и пагубным переворотом, внесшим в самобытную русскую культуру ненужную европеизацию; западники, напротив, признавали реформу необходимой и благодетельной. Западники были индивидуалистами; славянофилы же подчиняли личность коллективному авторитету («соборному начalu»). Основу национальной русской культуры они видели именно в господстве коллективности: «соборы» в церковной жизни и в важнейшие минуты государственной жизни, «общины» в гражданском строе, «артели» в трудовых предприятиях. Реформа Петра уничтожила эту основу, заменив ее синодом в церкви, личным абсолютизмом в государстве, бюрократическими канцеляриями и властью помещиков над закрепощенной массой. Оба направления в настоящее время уже анахронизмы; и западничество, и славянофильство пали вместе с падением доктрин идеалистической философии первой половины XIX века.

которые можно было бы назвать «русско-византийскими отрывками» (таково название одного из важнейших сочинений Васильевского). На этих лекциях профессор знакомил нас с результатами своих специальных разысканий, с теми текстами, над которыми работал, и с теми приемами исследования, к каким сам прибегал. Попутно он склонял желающих к писанию рефератов и внимательно разбирал поданные ему работы. С первого взгляда в Васильевском не было ничего замечательного. Небольшой человек великорусского типа, с добродушным улыбающимся лицом, с курчавой головою и густой бородой, немного застенчивый, небрежно одетый, — он сразу мог нравиться, но немного, на первый взгляд, обещал. На кафедре держался он просто и скромно, говорил негладко, подыскивая выражения. Нужно было некоторое время, чтобы привыкнуть его слушать, но, к удивлению, привыкали скоро и слушали охотно. Все поняли, что перед нами умный и талантливый человек; обаяние его личности быстро стало сказываться над всеми сколько-нибудь чуткими людьми. Негладко излагаемые лекции оказывались не только содержательными, но по конструкции красивыми, ясными и стройными. Они ярко обрисовывали эпоху, давали отличные характеристики лиц, хорошо вводили в историографию, знакомя с борьбой ученых мнений и с успехами научного знания. Рядом с постоянными блестками остроумия и оживления Бестужева тихий и ровный свет таланта Васильевского нисколько не проигрывал. В особенности любовались мы Васильевским в специальной аудитории (семинарии), где среди сравнительно небольшой группы начинающих историков Васильевский раскрывался вполне, не смущаемый многолюдством и не связанный лекционной формой изложения. Загромоздив кафедру принесенными из дома и из университетской библиотеки книгами и рукописями, он начинал свою беседу о каком-нибудь эпизоде византийско-готских или византийско-русских отношений, ставя нас лицом к лицу с текстом первоисточника и наглядно показывая, как из этого текста извлекался исторический вывод, иногда большого интереса и существенного значения. Мы вступали в самый процесс ученого исследования и творчества и начинали понимать завлекательную прелесть успешного научного труда. И с каким милым приемом у Васильевского это делалось! Ясная улыбка, беззлобивая тактическая шутка, самое благожелательное отношение к окружавшей молодежи и чрезвычайная простота обращения — эти свойства профессора чаровали нас. И в то же время мы не видели в профессоре

ничего тривиального, никакого искания популярности; напротив, с каждым днем для нас становилось все яснее, что мы имеем дело с крупным талантом и цельным характером, мягкость и скромность которого очень далеки от безличия и мелочности. К концу первого года знакомства с Васильевским его предмет — средняя история — и сам он в нашем сознании заняли бесспорно первенствующее место, а подготовка к его экзамену составила нашу главную заботу. Экзаменные требования Васильевского были разумны: он задал нам, кроме своего курса, прочесть несколько исторических сочинений (Гизо, Тьеरри, Грановского и др [угих]. (На экзамене он спрашивал мягко, но обстоятельно.)

В семинарии Васильевского была мною сделана первая научная работа на тему, предложенную им в связи с его специальным курсом: «О местожительстве готов-тетракситов». Васильевский помещал тетракситов «несколько выше Анапы и ближе к Керченскому проливу»; я же осмелился поселить их прямо на Таманском полуострове. Свое изложение я обставил цитатами из Прокопия и «Geographiī graeci minores» и приложил к тексту самодельную карту Крыма и Тамани. Разбору моей работы Васильевский посвятил в семинарии целый час и отнесся к ней, в общем, благосклонно. Это было первое мое знакомство с Васильевским, послужившее началом долгих и близких моих отношений с незабвенным учителем. Одновременно с работой у Васильевского я работал над темою, данною мне Бестужевым для диссертации на первую ученую степень «кандидата», с какою тогда оканчивали курс факультета наиболее успевающие студенты. Насколько Васильевский много давал ученикам в смысле ученого метода и техники, настолько Бестужев был холoden в отношении руководства. Свою заботу он ограничивал тем, что давал студенту тему или же утверждал тему, выбранную студентом, а затем предоставлял ему самому управляться своими силами в подборе пособий и в обработке собранного материала. Не берусь судить, был ли это продуманный прием отношения к учащимся, или же просто недостаток приема. В таком положении предоставленного на произвол судьбы оказался и я, когда Бестужев одобрил мою тему «Московские земские соборы XVI—XVII вв.» С конца 1880 года я целый год собирал, — можно сказать, ощупью — источники по истории земских соборов и писал свое сочинение безо всякой помощи со стороны. Оно вышло обширным и вполне, по-видимому, удовлетворило Бестужева; но оно было

совершенно чуждо его взглядам и не отразило на себе его ученого влияния. Предлагая мне после окончания курса факультета остаться в университете для приготовления к профессуре, Бестужев отметил это обстоятельство; он сказал мне: «Я вижу, что вы больше ученик Сергеевича». В этом он ошибался: к концу университетского курса я одинаково отошел как от идеологии Бестужева, так и от схем Сергеевича. В отношении метода и техники я целиком следовал Васильевскому; в понимании же смысла и содержания русского исторического процесса я испытывал на себе влияние лекций и монографий В. О. Ключевского. Ученая репутация Ключевского выросла вдруг около 1881–1882 года. В эти годы он получил кафедру русской истории в Московском университете и напечатал свою докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси». Московские студенты были очарованы изумительным лекторским талантом Ключевского и широко распространили литографские издания его курса. Эти издания дошли и до Петербурга. Как курс Ключевского, так и «Боярская дума» одинаково сильно увлекли меня. Меня прельщала не столько наклонность их автора к «экономической точке зрения» в объяснении исторических явлений, сколько разносторонность и широта в их понимании и полная (как мне тогда казалось) независимость от господствовавшей дотоле «системы русской истории» школы С. М. Соловьева и К. Д. Кавелина. Не говорю уже об остроумии и красоте речи и о том, что на каждой странице у Ключевского можно было заметить глубокое знакомство с великорусским бытом, живую стихию народности в художественном воспроизведении. Чтобы исправить ошибочный отзыв Бестужева и воспользоваться его обычным приемом — определять ученых тем, у кого они учились, — я мог бы сказать о себе, что я учился сперва у Бестужева и Градовского, а затем у Васильевского и Ключевского. Учителем моим Сергеевича считать не могу: я им любовался как лектором, но всегда держался от него вдалеке.

II

Весной 1882 г[ода] я окончил курс Университета и, так как мой большой труд о земских соборах был уже готов и одобрен, я сразу получил «ученую» степень кандидата и был причислен к Университету. Это причисление не обеспечивало; приходилось искать заработка и идти на должность преподавателя средней школы. В течение с лишком семи лет (1882–1889) я был учителем русского

языка и истории при значительном числе (не менее 20) уроков в неделю. В то же время надобно было готовиться к устному экзамену на степень магистра и писать и печатать диссертацию для получения этой второй ученой степени. Кроме того, тяжелая болезнь Бестужева заставила его отказаться от преподавания; он уехал лечиться за границу, и его лекции были распределены между немногочисленными тогда специалистами по русской истории. В Университете заменил Бестужева доктор Е. Е. Замысловский; на Высших женских курсах (университет для женщин) стала преподавать молодежь, оставленная при Университете Бестужевым. В том числе и мне была поручена часть курса русской истории, именно XVII век. 3-го октября 1883 года, 23 лет от роду, прочел я свою первую лекцию и немногим позже начал семинарий с группою студенток, моих ровесниц и даже превосходивших меня возрастом. Дело пошло удачно, я получил репутацию способного лектора и был приглашен в 1886 г. на кафедру русской истории в Александровский лицей (Пушкинский), где читал курс новой русской истории. То были для меня трудные годы: подготовка к лекциям, физически утомительный труд преподавания в средней школе, научная работа над темою для сочинения, обязательное чтение книг для предстоящего ученого экзамена — все это требовало громадного напряжения сил. В 1885 г. я выдержал экзамен при факультете; в 1887 году начал печатать в «Журнале Министерства народного просвещения» свою диссертацию «Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века как исторический источник», в 1888 г[оду] я защитил эту диссертацию на публичном диспуте в Петербургском университете, получил степень магистра русской истории и стал приват-доцентом Петербургского университета. В конце 1889 года безнадежно захворал Е. Е. Замысловский, и кафедра в Университете освободилась. Факультет не пожелал пригласить профессора со стороны и поручил преподавание мне. Это было первоначально временное поручение, так как я не имел формального права на профессуру, не получив высшей ученой степени доктора. Однако осенью 1890 года затруднение было обойдено: министерство по ходатайству факультета назначило меня исправляющим должность профессора, и я стал полноправным членом факультета. Думаю, что я обязан был этим В. Г. Васильевскому. Введя меня в состав факультета, он в то же время пригласил меня в состав редакции «Журнала Министерства народного просвещения». Сам он был редактором «Журнала»; с лета 1890 г[ода] я стал его помощником. Житейская обстановка моя

изменилась совершенно: я попал в условия, благоприятные для ученой работы.

Первою мою печатной работой была статья «Заметки по истории московских земских соборов» (1883). Она представляла собою извлечение из моей кандидатской диссертации и заключала в себе мои наблюдения и выводы, которые были новостью в изучении предмета. В этой статье относительно большое внимание было уделено организации земского представительства в Смутное время, именно в 1612–1613 годах, когда средние классы московского общества создали свое временное правительство и успели подавить внутреннее междуусобие в государстве и освободить столицу от польской оккупации. Этот исторический момент казался мне чрезвычайно важным: в моем представлении он отделял древнюю Москву с ее архаическим строем вотчинной (патrimonиальной) монархии от нового государства, возникшего из смуты с иной комбинацией политических отношений между новой династией и сознавшими свою силу сословными группами. Мне хотелось углубить изучение данной переходной эпохи, исследовать всесторонне начало и развитие того общественного движения, которое создало ополчение князя Д. М. Пожарского, и в нем образовало устойчивое временное правительство. Это мое желание подсказывало тему для магистерской диссертации. Начинать приходилось с первичного момента земского движения — с возникновения в Нижнем Новгороде, по почину Кузьмы Минина, ополчения для освобождения Москвы от польского гарнизона и от казачьих разбойничьих дружин. Следовало изучить социальный состав населения Среднего Поволжья, где возникло движение, узнать, какой сословный слой был там господствующим и почему, какими средствами, материальными и моральными, он располагал. Это — мечтал я — позволило бы мне указать настоящих возбудителей и вожаков движения, понять движение в самых его корнях. Тогда стало бы ясно, кто именно создал власть в потрясенном государстве и вышел победителем из многолетних смут. А это могло бы, в свою очередь, объяснить основной ход московской истории XVII века, приведший государство к реформе Петра Великого.

Таковы были мои первоначальные планы. Первые же опыты изучения поставленных мною историко-социальных вопросов меня разочаровали. В то время (80-е годы XIX столетия) по известным науке источникам точный состав населения в Среднем Поволжье

был неопределим. Самый ход нижегородского патриотического движения нельзя было восстановить в твердых, реальных исторических формах, потому что известные нам тогда его подробности были похожи на легенду, бледную, наивную, скучную содержанием. Мы знали о Минине и Пожарском и о всем их политическом предприятии преимущественно из неточных и противоречивых летописных хроник («сказаний» и «повестей») и эпических вымыслов. Необходимо было искать новый исторический материал для данной темы в архивах, еще не приведенных в порядок; необходимо было произвести критическую работу над известным историко-литературным материалом, которым историки пользовались без должной осмотрительности. Молодой начинающий ученый не мог исполнить эту задачу в ее полном объеме, и я отступил перед ее обширностью и трудностью.

В работе над источниками истории Смутного времени я впервые близко познакомился с историко-литературными произведениями той эпохи. «Смута», потрясавшая Московское государство в начале XVII века, начиная с необыкновенного голода 1601–1603 г[одов], продолжая самозванцами и иноземным вмешательством, привела московское общество в состояние хронического междоусобия и полного распада. Московские люди, пораженные постигшими их бедствиями, посвятили «смуте» много произведений, в которых или описывали необыкновенные события, или же размышляли над их причинами и значением. Кое-что из этих произведений («летописцев», «повестей», «сказаний») было издано целиком или в отрывках. Особенно известный Карамзин интересовался ими и охотно цитировал их в своей «Истории Государства Российского». Но в общем круг произведений о Смуте был не изучен; взаимоотношения их текстов не были выяснены; критических изданий не существовало. Между тем роль этих произведений, как источников для истории Смуты, была очень существенна. Они не только давали фактические сведения, но отражали в себе настроения общественных групп. Сами же по себе, в своей совокупности, они являлись весьма заметным литературным явлением своего времени. Оставив свою первоначальную тему, я решил остановиться на изучении этих произведений. Так возникла моя первая «диссертация».

Можно было идти двумя путями к решению принятой мною на себя задачи. Во-первых, можно было заняться критикой отдельных известий, находящихся в произведениях о Смуте, и отодвинуть на

задний план изучение литературной истории произведений. Во-вторых, можно было сосредоточить внимание именно на литературной истории произведений, прибегая к критике их фактических показаний только там, где этого требовало изучение памятника в его целом. В первом случае работа получила бы характер свода отдельных историко-критических заметок, лишенных внутренней связи, о тех исторических фактах, о которых упоминают изучаемые произведения. Во втором случае работа явилась бы сводом литературных характеристик, вскрыла бы целый литературный эпизод в русской письменности XVII века и определила бы только общую степень достоверности каждого произведения. После некоторых колебаний я выбрал второй путь. Порядок работы представился мне таким: сначала я должен собрать все, подлежащие исследованию произведения, как изданные, так и находящиеся в рукописях; затем я должен выделить самостоятельные произведения из массы компиляций и подражаний; наконец, я должен изучить самостоятельные произведения в хронологическом порядке их написания; после этого определение и изучение зависимых от них компиляций и подражаний не представило бы затруднений.

Главную трудность на первых порах работы представляло изучение текстов произведений неизданных, находившихся в рукописях в различных столичных и провинциальных хранилищах. Собрав указания на них в печатных «описаниях рукописей» и «каталогах», я ездил для ознакомления с ними в Москву и в некоторые монастыри, обладавшие древними рукописями. Конечно, собственными средствами и силами я не смог бы этого сделать, если бы не пришли мне на помощь Университет и Археографическая комиссия. Университет обеспечил мне поездку в Москву и Троице-Сергиеву лавру, а Комиссия, пользуясь принадлежавшим ей тогда правом, постепенно выписывала из провинции необходимые мне рукописи и предоставляла мне их для занятий. Только ее помощь и содействие сделали возможным успешное завершение моего труда.

Основанная в 1835 г[оду] при Министерстве народного просвещения, Археографическая комиссия возникла таким образом. В 1828 г[оду] Академия наук поручила знаменитому русскому археографу Павлу Михайловичу Строеву совершить «археографическое путешествие по России» с целью изучения всех (буде возможно) письменных памятников русской истории, которые находятся в монастырских, церковных, школьных и других

библиотеках, в старых архивах городов и т.д. С 1828 по 1834 г[од] Строев объехал весь север и центр России и обнаружил массу неизвестного рукописного исторического материала. Часть его он описал в своем «Библиологическом словаре» (он был напечатан только в 1882 г[оду]); часть скопировал в образцовых по точности копиях; часть приобрел в собственность (теперь все это находится в Российской Публичной библиотеке и в Археографической комиссии). К концу 1834 г[ода] его задача была исполнена. Для издания в свет летописей и актов, собранных «археографической экспедицией» Строева, была образована особая Археографическая комиссия, в состав которой вошел и сам Строев. Комиссии было присвоено право истребовать из провинции все обнаруженные Строевым древние рукописи и обрабатывать их для ученых изданий. Начиная с 1834 г., стали появляться труды Комиссии: «Полное собрание русских летописей» и «Акты исторические». Они оказали могучее влияние на ход исторических исследований и легли в основание работ С. М. Соловьева, К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина и других корифеев русской историографии XIX века. В них заключалась масса нового и ценного исторического материала. На этом создан был особый престиж имени П. М. Строева и вырос высокий авторитет Комиссии, которая с течением времени развилась в деятельное ученое издательство, вышедшее далеко за пределы находок Строева и связавшееся с центральными московскими архивами Министерств иностранных дел и юстиции. Начинаяющие ученые-историки второй половины XIX века с чувством чрезвычайного уважения входили в скромное помещение Комиссии для того, чтобы приобрести ее издания или же учиться читать древние рукописные тексты. В числе таковых и я стал посетителем Комиссии; управлявший делами Комиссии Л. Н. Майков, ознакомясь с моими работами над литературными источниками истории Смутного времени, нашел возможным применить к ним право Комиссии выписывать необходимые ей рукописи из архивов и библиотек. С тех пор я получил возможность работать в помещении Комиссии, привлекая туда необходимый для моей темы рукописный материал из таких глухих провинциальных мест, куда сам я никогда бы не попал. Таким порядком был доставлен, между прочим, из захолустного монастыря upisum «Временника дьяка Ивана Тимофеева». Эта хроника, тогда никому не известная и лишь мимоходом отмеченная Строевым, теперь составляет, будучи издана, один из самых замечательных памятников письменности XVII века. Понят-

но то чувство благодарности, какое питаю я к Археографической комиссии, и то чувство удовлетворения, с каким я (ныне председатель Комиссии) участвую в переводе Комиссии из ее старого помещения в прекрасное новое, отведенное ей Российской академией в одном из лучших академических домов.

Только благодаря помощи Археографической комиссии мое исследование могло охватить более 60 произведений русской письменности о Смутном времени, изученных по 150-ти, приблизительно, рукописям. В моих руках оказалось значительное количество неизданных и вовсе неизвестных текстов, которые придали моей книге и содержательность, и интерес. Стремясь использовать эти тексты как историк, я мало обращал внимания на историко-литературную их сторону и оставил ее без достаточного освещения. Когда моя книга вышла в свет, ученая критика оценила ее благосклонно; но мои критики стояли на той же точке зрения, как и автор, и видели в моей книге только опыт в области *kritische Quellenuntersuchung*.^{*} Один лишь В. И. Ламанский (известный славист) в своем устном отзыве указал мне на то, что моя книга в истории московской литературной письменности заполняет существенный пробел. По словам Ламанского, первая половина XVII века в отношении литературного творчества представлялась бесплодным промежутком; найденные и собранные мною памятники показали, куда именно направилось это творчество. Описание и объяснение только что пережитой Смуты стало на время главным предметом внимания для московских писателей. Справедливость замечания Ламанского стала скоро общепризнанной. Во всех позднейших обзорах древнерусской литературы явился отдел, посвященный моим памятникам, как одному из важнейших литературных явлений середины XVII века. Так моя историческая тема привела меня, помимо моего собственного сознания, к результатам историко-литературного порядка, чем я лично объясняю успех моей книги на книжном рынке. Она скоро стала библиографической редкостью и потребовала второго издания — результат редкий для ученой диссертации в ту эпоху в России.

Ценность собранных и обследованных мною произведений привела Археографическую комиссию к мысли сделать систематическое издание. Редакция издания была поручена мне, и в 1891 году

* Критического исследования источников (нем.).

в XIII томе издаваемой Комиссией «Русской исторической библиотеки» появились обследованные и найденные мною тексты под заглавием «Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени». С этих пор я стал постоянным сотрудником (с 1894 года — членом) Археографической комиссии и в течение нескольких лет редактировал в «Полном собрании русских летописей» издание обширнейшего московского официального летописного свода XVI века, называемого «Никоновской летописью».

III

Работа над источниками истории Смутного времени заняла у меня всего около 8 лет (1883—1891). Ко времени ее завершения я уже не имел занятий в средней школе и мог сосредоточиться на университете преподавании. Наступил новый период моей жизни и деятельности, материально более обеспеченный, в научном отношении лучше обставленный. Трудиться приходилось не меньше, чем в предшествующие годы; но труд более удовлетворял. Я никогда не увлекался преподаванием в средней школе; университету же был готов отдать все свои силы. Я читал общий курс русской истории, читал курсы по отдельным эпохам и вопросам и вел семинарии, в которых должны были участвовать все студенты исторического отделения факультета. Среди них было достаточно талантливых. Из моих семинариев 90-х годов XIX века вышли мои теперешние товарищи по науке и друзья — С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков (оба — профессора Петербургского университета), И. И. Лаппо (профессор в Дерпте, теперь — в Праге чешской), М. А. Полиевктов (профессор в Тифлисе). К их поколению принадлежал и Н. П. Павлов-Сильванский, рано умерший, талантливейший исследователь элементов феодализма в Древней Руси. Немногим позднее стали моими учениками П. Г. Васенко (выдающийся специалист в области *Quellenkunde*^{*}) и отчасти К. В. Хилинский (профессор в Лемберге). Была в числе учеников моих и женщина — Е. Ф. Церетели, сосредоточившая свой ученый интерес на истории Литовской Руси и впоследствии вышедшая замуж за академика Б. А. Тураева. Некоторые из семинариев, веденных мною в те годы, отличались большим оживлением; их участники вкладывали в свои рефераты много молодой энергии и иногда

* Источниковедения (нем.).

обращали их в самостоятельные исследования, печатая затем в исторических журналах. Такого происхождения были, например, статьи С. А. Адрианова (теперь специалист по истории литературы, много работавший над Достоевским) и В. Ф. Боцяновского (теперь драматург). Не скрою, что моя преподавательская деятельность в университете развивалась в ущерб собственно исследовательской. Мне следовало бы, не медля, писать докторскую диссертацию для получения высшей ученой степени, а времени для того недоставало. Оно уходило или на занятия со студентами, или же на редакционную работу в «Журнале Министерства народного просвещения», где, как выше сказано, я был помощником редактора В. Г. Васильевского. Получалась некоторая внутренняя неудовлетворенность, из которой необходимо было найти выход. В 1895 году я нашел его: я отказался от «Журнала» — и уже в начале 1896 года написал первые строки своего главного труда «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.». Эта книга была высшим научным достижением всей моей жизни. Она не только дала мне степень доктора, но, можно сказать, определила мое место в кругу деятелей русской историографии.

В то время, когда формировалось мое ученое мировоззрение, то есть в последней четверти XIX века, схема русской истории, предложенная школою Соловьева и Кавелина («школа родового быта», как ее называли), уже отжила свой век. Мы уже не верили в то, что основное, если не единственное, содержание русской исторической жизни заключалось в органической смене родового кровного быта государственным через известные посредствующие формы «гражданского» быта. Сверх «юридических» процессов, выдвинутых школою, мы искали в древней русской жизни движение и борьбу идей, искали конкретных отношений общественного верха и низа, господ и управляемой массы, капитала и труда. Однако мы признавали заслуги школы и оставались под влиянием ее частных взглядов и выводов. Главным приобретением историографии считали мы твердо установленный школою взгляд, что так называемая реформа Петра Великого не была внезапным крутым переворотом, а напротив, имела корни в предшествовавшем периоде государственной и общественной жизни Москвы. Выражаясь словами Соловьева, мы говорили, что «в течение XVII века явно обозначились новые потребности государства, и призваны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены

в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразований». Этим опровергались умозрительные утверждения «западников» и «славянофилов», что Петр Великий начал собою новую эру в русской жизни — благую, по взгляду первых, и вредную, по взгляду вторых. И в то же время ставился вопрос: если современный строй русского государства и общества не создан реформами Петра, то когда он получил начало и как он возник. Все данные указывали на то, что вместо Петровской эпохи началом новой России надлежит считать Смутное время с его политическими катастрофами и социальными потрясениями. Так думал уже Соловьев, говоря, что московская Смута представляет собою последний момент борьбы старых родовых «начал» с новыми государственными, после чего государственные «начала» восторжествовали окончательно. Эта формула, обладая большою определенностью с точки зрения школы Соловьева, не давала, однако, нашему поколению никаких реальных представлений. Нам предстояла задача вложить в нее конкретное содержание и на фактах показать, как погибал в Смуте старый порядок и в каких формах возникал новый — тот новый порядок, в условиях которого создалось наше современное государство. Из очередных задач русской историографии эту задачу надлежало считать одною из самых важных. Именно она и увлекла меня в моих «Очерках по истории Смуты».

Работы над построением общего курса русской истории в Университете ставили меня лицом к лицу с необходимостью освещать Смутное время в его происхождении, ходе и следствиях. В лекциях я твердо стоял на мысли, что эта эпоха не была случайностью, что она явилась последним фазисом глубокого социального кризиса XVI века и что в ее результате сложился новый порядок, обусловивший собою весь ход дальнейшей жизни государства и направление самого Петра с его реформою. Но одно дело — беглое изложение темы в лекционной беседе, и другое — раскрытие этой темы в специальном исследовании. Трудности этого исследования меня пугали; я помнил ту неудачу, которую претерпел в молодости, когда пытался осветить только одну часть данной темы — ополчение 1611—1612 гг. И все-таки я решился. Понимая, что полному раскрытию моего общего взгляда на значение изучаемой эпохи должен предшествовать ряд предварительных экскурсов, я всей своей книге дал характер «Очерков» и ввел в нее пред повествованием о самой Смуте несколько вступительных статей, составивших ее первую часть:

«Московское государство перед Смутою». В изложении же самой Смуты я сосредоточил свое внимание на изображении деятельности руководивших общественною жизнью кругов и на характеристике массовых движений. В пояснение своих авторских намерений я дал своему труду второе, пояснительное, заглавие: «Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время». Таким образом, я не обещал читателю полной истории изучаемой эпохи; но, вместе с тем, я старался построить свое изложение так, чтобы оно освещало главный смысл переживаемых русским обществом политических несчастий и социального междуусобия, и чтобы читатель всем ходом изложения был подведен к основному моему выводу — о перемене господствующего класса в Московском государстве и о влиянии этой перемены на общий правопорядок XVII века.

Я работал над своею книгою с большим увлечением. Мне существенно помогало то обстоятельство, что я был уже хорошо знаком с литературными источниками изучаемой эпохи и, кроме того, не раз строил ее изложение в своих курсах. На первых же порах, при обработке двух первых глав книги, мне удалось сделать ценные наблюдения и выводы в областях, в которых я хотел только воедино свести результаты трудов предшествующих исследователей. Первая глава имела предметом описание различных районов Московского государства с целью выяснения их географических и социальных особенностей. Деление на районы взято было древнее — то самое, какое установлено было московскою административною практикою. *Mutatis mutandis** оно оказалось очень удобным для моих целей. Промышленный север (Поморье), центр (Замосковье), древняя Новгородская земля, военная юго-западная «Украина» и вновь заселяемое на юге «дикое поле» — давали возможность цельных характеристик со стороны природных особенностей, социального и хозяйственного строя, степени населенности и политического настроения. Думаю, что я впервые дал такое общее описание Московского государства, в котором были характеризованы все его местные отличия. Это было необходимо для того, чтобы читатель мог представить себе реальную обстановку, в которой развивалось то или иное действие Смуты, и мог понять его характер и ход.

* Сделав соответствующие изменения (лат.).

Вторая глава моей книги была посвящена кризису, охватившему во второй половине XVI века центральные и южные области Московского государства. Изучение этого кризиса было начато до меня. Профессор Ключевский обстоятельно выяснил политическую сторону этого кризиса, изобразив борьбу Московских государей с московской княжескою знатью, потомством прежних владетельных князей. Он изучил состав этой знати, ее идеологию, ее землевладение и ту репрессию, которая ее постигла при Иване IV Грозном. Проверяя выводы этого ученого, я неожиданно для самого себя встретился с целым рядом мелочных и разрозненных данных, которые при их надлежащей комбинации дали возможность осветить новым светом значение давно известной и все-таки загадочной «опричнины» Грозного. В 1565 г. Грозный в порядке управления разделил все государство на две части: «земщину» и «опричнину». Первая осталась в старом виде; вторая представила собою ряд местностей, выделенных из государственной территории, в непосредственное ведение государя, его нового «двора». Мне удалось определить состав и общий размер областей, попавших в опричнину; оказалось, что это была чуть не половина государства. Удалось мне определить и цели, руководившие царем при отборе местностей: это были наиболее доходные торговые пункты для извлечения финансовых средств в непосредственное распоряжение нового «двора», а затем родовые земли княжеской знати для уничтожения в них существовавшей формы крупного и льготного землевладения. Родовая «вотчина» того или другого князя (*patrimonium*) или же крупная вотчина простого боярина (не княжеского происхождения), попадая в опричнину, конфисковалась; владелец ее, если не погибал вовсе, выселялся в «земщину» на окраину государства; его земля делилась на мелкие участки, которые распределялись между «опричниками», служилыми «дворянами» незнатного происхождения. Таким процессом пересмотра и раздробления крупных земельных владений Грозный уничтожил материальный базис старой знати, а казнями и ссылками он удалил представителей этой знати из дворца и высших учреждений. Опричнина, таким образом, определилась, как обдуманная система мероприятий, направленных против аристократической, политической и социально влиятельной среды. Результатом этих мероприятий было чрезвычайное ослабление родовой знати и развитие мелкого служилого (дворянского) землевладения, вполне зависимого от верховной самодержавной власти. Сделанное мною в этом виде

изображение опричнины было принято русской исторической наукой. Оно раскрыло настоящий смысл кратких отзывов об опричнине ее очевидцев — современных Грозному иностранцев Флетчера, Таубе и Крузе, а также и недавно найденного мемуара Генриха фон Штадена.¹ В изысканиях моих учеников и младших товарищей мой взгляд на значение опричнины получает теперь дальнейшее развитие, и опричнина обращается в одну из очередных сложных и важных тем по внутренней истории Москвы в XVI веке. А между тем, ранее были ученые, которые определяли непонятную им опричнину, как нелепый «каприз робкого тирана», лишенный разумного смысла... Опричнина со всеми последствиями созданного ею террора составляла политическую сторону сложного кризиса в Московском государстве. Его социальную сторону надо видеть в тех условиях, которые вызывали перемещение трудовой крестьянской массы из центральных областей государства на его окраины. Центр государства при Грозном быстро пустел, и правительство стало считать это бедствием уже в 70-х годах XVI века. Невозможно изложить здесь вкратце все причины этого рокового явления. Главная же причина заключалась в том, что, по разным соображениям, правительство деятельно насаждало мелкое служилое землевладение, обращая во владение служилых людей («помещиков») как казенные земли, так и конфискованные крупные вотчины знати. Рост мелкого землевладения тогда связан был органически с ростом крепостного права на крестьян. На казенных землях и в крупных вотчинах крестьяне пользовались самоуправлением; у мелких помещиков они становились в личную от них зависимость. Естественно было желание крестьян освободиться от этой зависимости или переселением на другие земли (в Поволжье само правительство звало колонистов), или же побегом на «дикое поле», где уже бродило много вольных казачьих дружин («станиц»). В результате ухода рабочей силы центральные части государства запустели, и правительство лишилось своих доходов и не могло призвать в войска своих «помещиков», обязанных ему служить за доходы с своих земель («поместий»).

В конце царствования Ивана Грозного общий кризис обозначился

¹ Johann Taube, Elert Kruse и Giles Fletcher общеизвестны. — Max Bär «Eine bisher unbekannte Beschreibung Russlands durch Heinrich von Staden» (Hut. Zeitschrift, 3. Folge, Bd. 21, S. 229 ff.) Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Москва, 1925.

в полной силе, и острое общественное брожение стало явным. Московская знать, страдавшая от террора и от потери земель, была озлоблена против царя и его новой опричнинской знати. Средний класс дворян-«помещиков» был угнетен уходом рабочей силы и тем, что ее остаток переманивался на земли богатых монастырей и влиятельных людей. Трудовая масса оставалась в покое на севере, в Поморье, где не было помещиков и крепостного права, но волновалась в центре и на юге, озлобленная потерей свободы и хозяйственным разорением. Ее злоба направлялась равным образом на правительство и на землевладельческие классы. Наиболее ярким выразителем политического и социального протesta была покинувшая свою оседлость и вышедшая за пределы государства на «дикое поле» среда бродячих «казаков». Внимательные наблюдатели московской жизни той эпохи определенно ожидали здесь скорого взрыва народных страстей и междуусобия (a civil flame, как выразился Флетчер).

Таково было содержание первой части моих «Очерков». Эта часть, по мере того, как углублялось мое исследование, разрослась в сложный трактат по внутренней истории Московского государства в XVI веке. Он давал читателю понятие о реальной общественной обстановке, в какой возникла и развились Смута. Он удостоверял, что Смута была органическим явлением в жизни Москвы, а не просто случайностью, которая, по мнению, например, Н. И. Костомарова, была создана внешним влиянием польских политических интриг и папской политики.

Вторая часть моей книги в трех главах изображала постепенное, по трем периодам, развитие Смуты. В первом периоде Смуты происходила борьба за Московский престол между различными на него претендентами. Она началась еще при жизни последнего царя старой династии Федора Ивановича и шла между боярскими родами Годуновых, Романовых и князей Шуйских. На первых порах победили Годуновы, и их представитель Борис Годунов, став государем, отправил Романовых в ссылку и устранил их с политической арены. Но побежденные Годуновым бояре успели создать интригу против Бориса в виде самозванца, назвавшего себя сыном Грозного Димитрием (настоящий Димитрий умер в детском возрасте и не был законным сыном царя). Самозванец, получив помощь в Польше, успел возмутить против царя Бориса оппозиционное население южной Московской окраины (казаков и гарнизоны

крепостей на «диком поле») и, опираясь на эту среду, овладел Москвою и престолом. Таким образом, борьба за престол, начавшись боярскими интригами во дворце, перешла в народную массу и сделала ее орудием династических притязаний. Пример открытого восстания Самозванца был усвоен реакционной партией родовитейших московских бояр — князей Шуйских, Голицыных и других. Не желая повиноваться Самозванцу, эта партия подняла против него московскую чернь и, убив его, поставила на престол князя Василия Ивановича Шуйского. Этим закончился первый период Смуты — период борьбы династической. Шуйский полагал, что его права на престол неоспоримы, и не предвидел, что народная масса, неосторожно поднятая на защиту тех или иных династических интересов, может подняться и по собственному побуждению для своих классовых достижений. Она поднялась очень скоро, ибо не желала подчиниться царю, поставленному олигархическим кругом бояр. В этом стихийном движении масс были и самозванцы, и, притом, в значительном числе, но они играли роль только предлога и прикрытия для движения низших слоев населения против высших, неимущих и обездоленных, против богатых и знатных. В результате, страна разделилась между двумя правительствами: в Москве находился царь Василий Шуйский, представитель старого порядка и социального строя, а в селе Тушине (под Москвой) укрепился второй самозванный Димитрий с толпами казаков и черни и с сильными польско-литовскими вспомогательными отрядами. В виде этих добровольческих отрядов Польско-Литовское государство впервые осуществило свое вмешательство в московское междуусобие. Позднее и сам польский король с своей армией вошел в пределы России и осадил Смоленск. С другой стороны, и шведы нашли нужным воспользоваться русской Смутой, — сначала послав военную помощь Шуйскому, а затем оккупировав Новгород и часть его области. К концу 1610 года оба московские «царя» — и Василей, и Димитрий — лишились власти. Москва избрала в свои государи польского королевича, а Новгород — королевича шведского. В Москве водворилась военная диктатура польская, а в Новгороде — шведская. Политическая самостоятельность Московского государства была утрачена, внутри господствовала анархия и разбой. Английское правительство мечтало о водворении своего протектората над московским севером, куда не доходили ни поляки, ни шведы. Такой исход имела социальная борьба в московском обществе, в котором ни один общественный класс не обладал пока

ни достаточно сильной внутренней организацией, ни достаточно ясным классовым сознанием. Полным распадом старого порядка закончился, таким образом, второй период Смуты — период борьбы социальной. В третьем периоде Смуты наблюдается ряд попыток восстановления старого порядка и изгнания иноzemцев. Первая такая попытка основана была на мотивах национально-религиозных и стремилась соединить в одном военном ополчении против поляков все слои московского населения. Но общенациональный порыв не погасил классовой вражды, и ополчение погибло от острого междуусобия. Под предводительством дворянина Прокопия Ляпунова это ополчение осадило польский гарнизон в Москве и устроило в своем лагере временное правительство для всей страны. Но казаки убили Ляпунова, разогнали дворянские элементы ополчения и овладели правительственным аппаратом, который был создан Ляпуновым. Настала минута политического господства казачества, содержавшего в себе все группы низшего угнетенного и закрепощенного населения. Но вожди казачества не выдвинули никакой определенной программы действия и не имели силы поддерживать дисциплину в казачьей массе. Страна стала жертвой насилий и грабежей казачества. Немедля же началась реакция против казачьего господства, и в Нижнем Новгороде создалось ядро нового ополчения, лозунгом которого, кроме национального освобождения, стала борьба с казачеством за общественный порядок. Этот лозунг, впервые наметивший ясную программу действия, объединил под одними знаменами поместное дворянство, горожан и свободных крестьян северных областей, то есть средние классы, представителей мелкого служилого землевладения, торгового капитала и мелкой промышленности. За Нижним Новгородом пошел весь центр и север государства. Нижегородские вожди — князь Д. М. Пожарский и купец Кузьма Минин организовали в главном городе московского севера Ярославле свое временное правительство с представителями областей и вытеснили казаков из северных городов на правый берег Волги. Затем, сформировав солидное войско, они пошли из Ярославля к Москве, имея в виду как борьбу с польским гарнизоном Москвы, так и борьбу с казачеством, стоящим под Москвой. Сначала под стенами Москвы удалось ликвидировать вражду классовую. Непримиримые элементы казачества, не имея сил бороться с крепким дворянским ополчением, ушли из государства на Нижнюю Волгу и Каспий; остальная же масса капитулировала и вошла в соглашение с Пожарским. Князь Пожарский и вождь

казаков князь Трубецкой образовали единую власть, признанную всеми городами, и единое ополчение, которое взяло Москву у поляков. Немедля же в освобожденной столице собрался «земский собор» (представительное собрание всех сословий) и избрал в царя Михаила Федоровича Романова. Этим завершился третий период Смуты — период борьбы за национальное освобождение. По общепринятому историками взгляду, царским избранием 1613 года закончилась Смута, и новой власти оставалась лишь ликвидация ее последствий: борьба с последними вспышками общественного брожения и с внешними врагами, овладевшими в Смутное время западными областями Московского государства.

В результате Смуты оказалось, что оппозиционная масса населения не смогла достигнуть своей цели — упразднения старого крепостного общественного строя. В то же время Смута окончательно расстроила старую родовую московскую знать и истребила ее важнейших представителей. На вершине уцелевших от Смуты общественных групп оказалось рядовое мелкое неродовитое дворянство («служивые люди») и торгово-промышленный класс («торговые люди»). Именно они на первых порах поддерживали нового царя и направляли его политику. В этом-то и заключалось главное следствие Смуты — смена правящего класса в стране, старой знати — средними классами. Ход общественной жизни привел эти классы к известной организации и к закреплению их командного положения в законодательстве, именно в Уложении 1649 года. К такому выводу в конце концов подводила моя книга читателя.

Я могу констатировать, что успех моих «очерков» был несомненен. Критика признала за нами не только ценность исторических наблюдений и выводов, но и литературное достоинство и даже художественность изложения.¹ Мой докторский диспут 3 октября 1899 г.

¹ «In der „Skizzen“ trat die wissenschaftliche Persönlichkeit Platonovs klar hervor. Ein aufmerksamer und scharfer Beobachter bemüht sich hier, eine möglichst konkrete und detaillierte Vorstellung von den ihn interessierenden Erscheinungen zugewinnen. Aus dem Mosaik von kleinen, aus verschiedenen Quellen geschöpften Tatsachen bildete er — stets streng dokumentarisch — seine Charakterisierung und Beschreibungen der Ereignisse mit solcher Genauigkeit der Synthese, dass die Darstellung in bezug auf Anchaulichkeit und Lebendigkeit wie ein Kunstwerk anmutet. Diese geschichtswissenschaftlich konkrete Darstellung ist den weitestgehenden Deductionen Platonovs eigen: seine Schriften sind u.a. ungemein interessant als Material für das Studium der Psychologie und Methodologie der historischen Begriffsbildung» (Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte, Band II, Heft 1. S. 155. «S. F. Platonov» von A. Presnjakov). — В «Очерках» ясно проявляется личность

в Киевском университете прошел очень хорошо.¹ Книга разошлась в продаже быстро и потребовала нового издания (1901), что с учеными диссертациями в России бывало очень редко. Мое ученое имя было установлено твердо. Этому содействовал еще и тот факт, что начиная с 1899 года стали выходить печатные издания моих «лекций по русской истории». По русскому университетскому обычанию прежнего времени, лекции профессоров записывались и литографировались для экзамененных потребностей студентов. Такие литографические издания моих лекций существовали в редакции, мною одобренной, с текстом более или менее исправным. В 1898 году два моих слушателя собрали несколько литографских изданий разных лет, свели их текст в один систематический общий курс русской истории и напечатали типографским способом. Книга разошлась скоро. Последовали новые издания, в которых текст постепенно улучшался. Начиная с 3-го издания (1913 года) он принял достаточно исправный вид, за который я мог бы уже принять ответственность, так как лично его редактировал. По-видимому, «лекции» удовлетворяли типом своего построения и изложения насущной потребности университетской молодежи в фактическом и в то же время критическом изложении предмета.

IV

С появлением моих «Очерков по истории Смуты» и с получением докторской степени начался новый период моей жизни. С 1900 по 1905 год я был деканом своего факультета. В 1903 году я получил приглашение преобразовать существовавшие при петербургских

Платонова как ученого. Внимательный и чуткий исследователь стремится здесь получить конкретное и детальное представление об интересующих его событиях. Из мозаики мелких, почерпнутых из различных источников фактов он создает — всегда на строго документальной основе — свою характеристику и описание событий с такою точностью обобщения, что сообщенное им в изобразительном и повествовательном отношениях выглядит как художественное произведение. Эта научно-историческая конкретная наглядность свойственна характерной для Платонова чрезвычайно далеко идущей дедукции; его труды, между прочим, представляют чрезвычайный интерес и в качестве материала для изучения психологии и методологии формирования исторических понятий (Журнал восточноевропейской истории. Том II. Вып. I. С. 155. А. Е. Пресняков «С. Ф. Платонов»). — Пер. А. Д. Сыщикова.

¹ Диспут был не в Петерб[ургском] ун[иверсите]те по той причине, что в нем не было оппонентов (я сам занимал кафедру); в Киевском же ун[иверсите]те было тогда три доктора русск[ой] истории: [В. С.] Иконников, [С. Т.] Голубев, В. Б. Антонович.

женских гимназиях Педагогические курсы в высший Педагогический институт. Я согласился легко, потому что неясно представлял себе сложность и трудность дела. Мне казалось, что это своего рода деканство в «педагогическом факультете». На деле оказалось, что я как директор Педагогического института не только должен был сформировать и провести через бюрократические инстанции учебные планы двух отделений или факультетов («словесного» и «физико-математического»), но должен был строить новые здания, в них устраивать лаборатории, кабинеты и библиотеку, и для всего этого добывать кредиты в правительственные учреждениях, не всегда сочувствовавших широкой инициативе лица, стоявшего во главе нашего предприятия (великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук, известного писателя — поэта и драматурга). В несколько лет наш Женский педагогический институт стал на ноги и обратился в благоустроенное учреждение, в котором существовало два факультета и при них показательная образцовая женская гимназия с подготовительным классом и детским садом. Число учащихся во всех этих школах доходило до 1000 человек. О том, какова была внутренняя сила этой социальной ячейки, можно судить по тому, что во время великой войны ее силами и средствами, безо всяких официальных субсидий, былдержан лазарет на 70–80 человек, с операционной комнатой, столовой и мастерскими для выздоравливающих. Весь труд по лазарету несли учащиеся, а также преподавательский и медицинский персонал Института с двумя приглашенными со стороны врачами. Здания Института были настолько вместительны, что помещенный в них лазарет нимало не мешал правильному ходу учебных занятий.

Я работал в Институте 13 лет. В 1916 году исполнились все сроки, дававшие мне право на получение пенсии; кроме того, я имел определенный литературный доход. Я решился поэтому выйти в отставку, стать приватным человеком и отдать остаток жизни науке и путешествиям, которые я очень любил. До той поры я видел, пользуясь летними каникулами для поездок, западноевропейские страны, Константинополь и Грецию; много ездил по России от Соловецких островов и Архангельска до Батума и Южного Урала. Теперь мне хотелось посетить Сибирь и, в первую очередь, Алтай, о красотах которого я много слышал. С июня 1916 г[ода] я изъвободился от службы, и за мною осталось только небольшое число

лекций в Университете и в Институте. С большим удовольствием провел я зиму 1916–1917 г[одов] в положении свободного человека; но это удовольствие было недолгосрочно: переворот 1917 года поставил меня снова в ряды повседневных работников.

В только что описанный период времени (1900–1917 г[оды]) моя ученко-литературная деятельность выражалась в ряде изданий и статей. В 1909 г[оду] вышел в свет мой «Учебник русской истории для средней школы». Он представлял собою попытку дать в доступном для учеников виде научно и объективно изложенный курс с исключением из него всякого рода легенд и рептильно-патриотической лирики. Книга имела чрезвычайный успех и переиздавалась ежегодно. По указаниям педагогов-практиков я произвел в ней некоторое сокращение текста и издал «Сокращенный курс русской истории»; однако же требование на учебник неизменно превышало требование на сокращенную его редакцию. Хотя официально «Учебник» и был одобрен для школ, тем не менее он получил репутацию независимой и не всегда практически удобной книги. Я думаю, что именно «Учебник» был основанием неблагоприятных обо мне отзывов в высоких сферах. О них не раз доходили до меня слухи. А после отречения императора Николая II в 1917 году в его бумагах была обнаружена записка о профессорах русской истории, в которой между прочим обо мне значатся следующие строки: «Вполне приличен также и профессор Платонов, обладающий огромной (!!) эрудицией; но он сух и уже, несомненно, весьма мало сочувствует культу русских героев; конечно, изучение его произведений не может вызвать ни чувства любви к отечеству, ни народной гордости». По счастью, мне чаще приходилось о себе слышать иное мнение.

Из собственно ученых моих статей этого периода хотел бы я указать следующие. По связи с большой моей книгой были написаны статьи, касавшиеся некоторых лиц Смутного времени («Вопрос о происхождении первого Лжедимитрия», «Патриарх Гермоген и архимандрит Дионисий» и др[угие]). Характеристики исторических лиц вообще составляли мою слабость: не один раз пытался я дать изображение личности царя Алексея Михайловича, в котором живой ум и повышенная впечатлительность сочетались с большой моральной чуткостью, но, вместе с тем, и с мелочью суевиностью и неспособностью к правильной работе. Не раз пытался я дать цельный образ и его гениального сына Петра как в своих лекциях, так и

в статьях. Юбилей Петербурга (1703–1903) вызвал у меня попытку выяснить всесторонне значение блестящей военной операции, в центре которой было основание Петербурга. С основанием Петербурга Русское государство приобрело сильную крепость, обеспечивавшую России выход в Балтийское море, удобный порт, к которому стягивалось много торговых путей с Русского Севера и из центра страны, и новую столицу, которая много лучше, чем Москва, давала возможность следить за ходом политических отношений на Балтике и вообще в Европе. Послужив одним из средств завоевания Балтийского берега, Петербургская крепость, став портом, усвоила всей стране экономические результаты этого завоевания и, став столицею, послужила символом нового для Москвы культурно-политического порядка. Так как всякая подготовка и все исполнение этого дела завоевания и укрепления Ингрии совершились по почину и под руководством самого Петра, то надлежащее освещение этой операции бросает яркий свет и на великий военно-политический талант Петра, которому в то время было всего около 30 лет от роду. К той же эпохе борьбы Москвы со Швецией относилась моя статья «К истории Полтавской битвы 27 июня 1709 года», вызванная празднованием юбилея этой битвы в 1909 году. Всюреки всем русским военным историкам, я решился утверждать, что в кампании 1708–1709 г[одов] боевая инициатива принадлежала Карлу XII вплоть до осады Полтавы, и что его стратегической целью было открыть себе дорогу из Украины к Москве. Трижды он делал попытки обойти русскую армию с ее левого фланга, и если они не удались, то вина в этом падала не только на случайности, но и на мастерскую стратегию Петра. Такая точка зрения на ход борьбы ставила меня рядом со шведскими историками против моих коллег, русских военных историков; последние не желали видеть никакого плана и смысла в предприятиях Карла на Украине в конце 1708 и начале 1709 года. Изучение военной обстановки, предшествующей Полтавской битве, так же как и изучение операции 1702–1703 г[одов] в Ингрии, давало мне твердый материал для изображения Петра как одного из величайших деятелей русской истории, совместившего в себе самые разнородные способности стратега, администратора, политика, техника. Результаты моих занятий Петром я свел только в самое последнее время в отдельной книжке «Петр Великий. 1725–1925».

Не без связи с «Очерками по истории Смуты» стояли две мои крупные по объему работы, написанные в 1905–1906 гг. В одной

из них я вернулся к старейшей своей теме — к «Земским соборам» и дал их общую историю в свете новых исторических данных. Эти новые данные касались главным образом середины XVII века, когда в Московском государстве неудовлетворенная правительством масса вынудила власть к пересмотру законодательства и к ряду уступок средним классам населения. Органом этих средних классов явился Земский собор 1648–1649 г[одов], редактировавший Уложение царя Алексея Михайловича. История этого собора, дополненная новыми подробностями на основании архивных находок, упразднила существовавшее до тех пор мнение, что земские соборы естественно заглохли вследствие внутреннего ничтожества. Явилась возможность указать, что настоящей причиной прекращения соборов был страх перед ними правительства и его стремление к бюрократизации управления. Другая крупная статья моя называлась «Московское правительство при первых Романовых». Она имела целью установить состав правительской среды в царствование Михаила Федоровича, избранного на престол в 1613 году. Это был единственный темный вопрос. Громадный пожар в Москве в 1626 г[оду] истребил документы в центральных государственных учреждениях, и поэтому первые годы новой династии не оставили по себе почти никакого актового материала. Изучать правительенную практику этих лет можно только косвенным путем, путем гипотез и догадок, по случайно уцелевшим документам. С другой стороны, определить правительенную программу нового царя чрезвычайно трудно по его крайнему безличию. Царь Михаил — фигура крайне бледная: до нас не дошло ни одного его автографа, ни одного частного, написанного им или продиктованного без официальных условностей письма. Можно осветить его деятельность, только установив, кто и как влиял на него самого и на ход дел. Этим объясняется смысл поставленной мною темы. Путем мелочного подбора разнородного материала мне удалось выяснить, что правительенная среда в первое время власти царя Михаила была пестрой и случайной; в ней не было таких социально однородных элементов, которые могли бы ограничить личную власть государя или же подчинить ее определенной классовой тенденции. Я решительно опровергал ранее существовавшее мнение о том, что царь Михаил был формально ограничен боярами, и думаю, что в этом достиг прочного результата. А затем я установил, что взамен старой родовой знати уже при Михаиле сложилась новая придворная и чиновная знать, в которую вошли в значительном проценте лица,

пользовавшиеся в Смутное время сомнительной репутацией. Их влияние на общий характер правительственной деятельности того времени было безусловно вредно и подготовило революционные вспышки середины XVII века. В обеих только что названных работах я, в сущности, развивал и обосновывал те мысли, которые сжато высказал в заключении к своим «Очеркам». Они указывали на те отличительные черты общественной жизни Москвы XVII века, которыми обусловлен был переход московской монархии к формам просвещенного абсолютизма Петра Великого.

V

Переворот 1917 г[ода] и ломка старого строя, начатая в 1918 году, пощадила меня и мою семью, и среди общих лишений, испытанных русским обществом в период блокады и голода, я не потерял своей библиотеки и привычной оседлости. Я мог продолжать преподавание в Университете и написал свою монографию о Борисе Годунове, напечатанную в 1921 году. С весны 1918 года я был делегирован Университетом в междуведомственную комиссию по охране и устройству архивов упраздненных учреждений. Эта комиссия, созданная по мысли «революционного марксиста» Д. Б. Рязанова, действовала под председательством этого образованного, благородного и симпатичного человека. Она постепенно обратилась в «Главное управление архивным делом», в котором я по выбору товарищей оказался заместителем председателя. Когда же Главное управление было переведено в Москву, я был оставлен во главе местного отделения этого Управления, где и оставался до весны 1923 года. 31-го декабря 1918 года, после кончины графа С. Д. Шерemetева, я был избран председателем Археографической комиссии (вошедшей впоследствии в состав учреждений Российской Академии наук), а 2-го августа 1920 года совершилось мое избрание в действительные члены Академии наук по ее III отделению (исторических наук и филологии). В этих двух учреждениях — Академии и Археографической комиссии — я работаю в настоящее время, оставаясь пока и в Университете, вероятно, до «предельного возраста», которого достигаю в настоящую минуту. Но преобразованный в последние годы Университет уже не есть тот университет, которому принадлежала вся моя ученопреступодавательская деятельность: в нем, по известной пословице, «новые птицы — новые песни»...

Я упомянул выше свою монографию о Борисе Годунове. Эта книга доставила мне большое удовлетворение. Воспитанник Грозного, боярин Борис Годунов явился его продолжателем в управлении государством, сначала как регент при малоумном царе Федоре Ивановиче, а потом как царь, избранный на престол Земским собором после прекращения рода Грозного. В разгар сложного политического и социального кризиса он был окружен врагами, оклеветан ими и перешел в потомство с запятнанною репутацией. Его признавали талантливейшим политиком и администратором, но верили, что он был виновником убийства младшего незаконного сына Грозного Дмитрия и ядом ускорил смерть царя Федора, добиваясь престола для себя. Много и других обвинений возводилось на Бориса со стороны, главным образом, знати, его не любившей. Моя задача состояла в том, чтобы показать шаткость и недостоверность этих обвинений, обнаружить их мотивы и цели и дать надлежащее представление о деятельности и характере Бориса, которого я признавал не только талантливым правителем, но гуманным и просвещенным человеком. Я питаю надежду, что свою задачу решил успешно. Моя книга о Борисе появится по-немецки, и германские читатели смогут получить о ней непосредственное представление. Прежний образ Бориса, созданный Пушкиным в его драме «Борис Годунов» по старой исторической традиции, останется в поэзии, но, думаю, навсегда уже устраниен из истории.

В 1923 году я выпустил в свет не одну книжку. Прежде всего было издано сокращенное изложение моих «Очерков по истории Смуты» под более общим названием «Смутное время». Эта небольшая книга доступна по изложению широкому кругу читателей, но не дает, в существе, ничего нового сравнительно с большим моим трудом. Тогда же я напечатал в серии «Образы человечества» (издательство Брокгауз-Эфрон) характеристику царствования Ивана Грозного, которая так же, как книга о Борисе Годунове, имеет появиться в немецком переводе. Мою характеристику надлежит сопоставить с замечательным очерком «Иван Грозный» проф. Р. Ю. Виппера, вышедшим в свет годом ранее моей характеристики. Проф. Виппер дает оценку деятельности Грозного в связи с общим ходом мировой истории в момент напряженнейшей борьбы христианской Европы с мусульманским Востоком и высоко ставит

роль Москвы вообще и Грозного в частности в этой борьбе. Книга Р. Ю. Виппера есть не только апология, но как бы апофеоз Грозного. Я же беру Грозного в его местном, национальном значении и стремлюсь восстановить реальные достоверные черты его личности и деятельности, насколько их обнаруживает совокупность достоверных источников. В том же 1923 г[оду] вышло в свет собрание моих статей, написанных в последние годы (после 1917 г[ода]) по вопросу о древнейшей колонизации Русского Севера (Поморья). Эта книжка носит название «Прошлое Русского Севера» и стоит в связи с деятельностью «Колонизационных экспедиций севера», преемниц дореволюционного Переселенческого управления. В экспедициях я состоял ученым экспертом и участвовал, между прочим, в поездке членов экспедиций с экспертами в Мурманск в 1920 году, тотчас по эвакуации Мурманска отрядами Антанты. Эта поездка была любопытным дополнением к моим прежним поездкам на Белое море, в Соловки и Кемь и дала мне ряд незабываемых впечатлений от природы и отчасти быта русского полярного края. В сборнике «Прошлое Русского Севера» помещена моя статья «Строгановы, Ермак и Мангазея», которой я придаю большее значение, чем всем прочим статьям сборника. Эта статья представляет собою попытку указать исторический фон, на котором следует помещать обычное изложение эпического «подвига» Ермака, т.е. «завоевания» Сибири. Поход Ермака был одним из многих эпизодов того Drang nach Osten, какой заметен в жизни русской народности во второй половине XVI века после ее побед над татарским и финским миром Поволжья. Руководство в этом походе принадлежало богатым капиталистам севера Строгановым, которых манила к себе Мангазея, область между Обскою губою и низовьями р[еки] Енисея по р[еке] Тазу. Необыкновенно богатая драгоценными мехами, Мангазея дала Строгановым их первое богатство, обещала им и его дальнейшее умножение. Они стремились наладить туда постоянные пути и морем, и через «Камень», т.е. Уральские горы. Победить горы Ермак захватил сухопутные дороги на Обь, хотя до Мангазеи и не дошел. Чтобы удержаться на этих дорогах, ведших не только

* Натиск на Восток (нем.).

в Мангазею, но и вообще на азиатские рынки, Строгановым пришлось звать на помощь царскую власть, которая усвоила плоды строгановского успеха себе и скоро обратила пути на Обь и самую Мангазею в свое обладание. Под защитою царских крепостей Мангазея стала ареной усиленной и ускоренной эксплуатации и была истощена в полвека, после чего русский человек пошел за пушным зверем далее на Енисей и на «великую реку» Лену. Связать Ермака с Мангазеей было счастливой мыслью; она объясняла очень хорошо весь эпизод первого Сибирского похода по р[еке] Иртышу на Обь.

В 1924 г[оду] была написана, а напечатана в 1925 году, моя книга «Москва и Запад в XVI–XVII вв.» В ней я желал дать общедоступный очерк сложного и не во всем объеме исследованного вопроса европеизации Московской Руси. Это была заново обработанная часть моего общего курса русской истории, построенная на той мысли, что связь Московского государства с европейским Западом завязывалась ранее и была крепче, чем обычно принято думать. Наконец, в 1925 г[оду] я написал книжку о Петре Великом, о которой упомянуто мною выше. Для общей характеристики моей научно-литературной деятельности в последние годы я должен пояснить, что житейская обстановка в эти годы не допускала глубоких архивных и библиотечных изысканий, требующих досуга в дневные и «служебные» часы и пребывания в книгохранилищах и архивах. Занимавшие меня давно темы по истории хозяйственной жизни и экономической политики Московской Руси остаются и всегда, по-видимому, останутся без исполнения. То же, что могло быть мною напечатано за это время, представляет собою результаты исследовательской работы прежнего времени или же плоды размышлений над давно опубликованным историческим материалом.

В заключение не могу отказать себе в удовольствии упомянуть, что газетные сообщения в 1919 году объявили о моей кончине русскому югу и загранице. При отсутствии сношений между русским севером и югом целый год нельзя было опровергнуть этих сообщений. С большим любопытством читал я свои некрологи и в некоторых из них находил сведения о моей жизни и деятельности, очень любопытные, но мне лично до тех пор совершенно

неизвестные. Оригинальное чувство вызывали во мне все эти, так сказать, замогильные оценки, и не скажу, чтобы это чувство было жутким или грустным. Напротив, оригинальность положения иногда вызывала улыбку. Нехорошо было только то, что две мои дочери, жившие тогда на юге, были повергнуты в печаль утратою отца и не скоро узнали, что могут утешиться.

СПб. филиал архива РАН. Ф. 133. Оп. 1а. № 90. Л. 1-36.
Копия. Машинопись с правкой А. И. Андреева.

Автобиографическая записка была составлена академиком С. Ф. Платоновым в 1928 г. незадолго до его отъезда в составе делегации советских историков в Берлин для участия в Русской исторической неделе. В ходе этой совместной научной конференции советских и германских историков было принято решение возобновить издание журнала «Jahrbücher für Geschichte Osteuropas» (Breslau, 1934, № 1). Для этого журнала и была предназначена публикуемая в настоящем издании автобиография С. Ф. Платонова, которая по своему жанру существенно отличается от его же автобиографии, опубликованной незадолго перед этим в журнале «Огонек» (1927, № 35), а также от того типа автобиографий ученых, который к этому времени уже сложился в советском научном делопроизводстве и справочных изданиях.